

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΠΟ ΠΛΟΥΤΟΥ



18+

АЛЕКСЕЙ ГОРСКИЙ

Алексей Горский
Лабиринт из плоти

«Автор»

2026

Горский А.

Лабиринт из плоти / А. Горский — «Автор», 2026

В этот лабиринт не входят, чтобы выйти. Сюда входят, чтобы исчезнуть. Здесь нет солнца. Здесь нет звёзд. Здесь есть только камень, тьма и он. Тот, кого боятся. Тот, кого не должно было быть. Тот, кто ждёт. Он не помнит, как его зовут. Но он помнит имена всех, кто приходил до тебя. Он царапает их на стенах, пока пальцы не начинают кровить. Он делает это, чтобы не забыть. Или чтобы не забыться. Говорят, чудовища не плачут. Говорят, у них нет памяти. Говорят, они не помнят, кем были раньше. Это ложь. Но правду ты узнаешь только тогда, когда стены сомкнутся. И когда останется только один вопрос — кто здесь на самом деле чудовище. Если ты слышишь, как капает вода — беги. Если ты слышишь шаги — уже поздно. Добро пожаловать в Лабиринт.

© Горский А., 2026

© Автор, 2026

Алексей Горский

Лабиринт из плоти

Меня зовут Астерион. Люди называют меня Чудовищем. Я привык. Почти. Я говорю «почти», потому что привыкнуть до конца нельзя, можно только перестать замечать, как каждый раз внутри что-то сжимается, когда я слышу это слово, сказанное шёпотом у входа в Лабиринт, сказанное с той особой интонацией, с какой люди говорят о том, что их убивает и чего они не могут избежать. Я лежу на камне, который никогда не нагревается, и слушаю, как просыпается Лабиринт. Он просыпается раньше меня. Всегда. Стены тянут камень, как старик кожу, медленно, со скрипом, со стоном, который никто, кроме меня, не слышит, потому что для всех остальных это просто камень, а для меня это голос, это дыхание, это что-то живое, что окружает меня со всех сторон и никогда не отпускает. Где-то капает вода. Не там, где капала вчера. Я уже не ищу тот звук. Раньше искал. Раньше я ходил за этим звуком часами, думал, что найду источник, что найду хоть одну точку в этом мире, которая не двигается, хоть одну вещь, которая остаётся на месте, и тогда, может быть, я сам перестану двигаться, перестану быть этим вечным движением в темноте, перестану быть этим голодом, который ходит и ходит и никогда не находит покоя. Я не нашёл. Вода всегда капает в другом месте. Так здесь всё. Так здесь давно. Иногда я думаю, что Лабиринт — это не место, а существо, которое медленно переваривает меня, и что Дедал построил не тюрьму, а желудок, и я в нём не узник, а пища, которая почему-то ещё двигается и ещё помнит, что когда-то была человеком. Я думаю об этом часто. Я думаю об этом, потому что думать — это единственное, что я могу делать без чужой крови на руках, и потому что если я перестану думать, то стану тем, чем меня хотят видеть, а я не хочу. Я не хочу. Это единственное «не хочу», которое у меня осталось, и я держусь за него, как за стену, как за камень, как за что-то, что не двигается, хотя всё вокруг двигается, всё вокруг живёт и дышит и меняется, и я один стою на месте, и от этого мне страшно.

Я помню день, когда меня сюда привели. Я был маленький. Я не помню, сколько мне было лет, потому что здесь время не идёт, здесь время стоит, как вода в гнилом колодце, но я помню, что был маленький, что мои рога только начали расти, что они были мягкие, как ногти младенца, и что мать плакала. Я помню её руки. Тёплые. Она держала меня за плечо и говорила, что всё будет хорошо. Она врала. Я знал, что она врёт, и она знала, что я знаю, и всё равно говорила, потому что люди всегда врут, когда не могут ничего исправить, и это, наверное, самое человеческое, что есть в людях, — врать от бессилия. Минос стоял рядом. Он смотрел на меня, как смотрят на вещь, которую нельзя выбросить, но и держать в доме нельзя. Я помню его лицо. Я помню его глаза. Я помню, как он сказал: «Уведите его». И как он отвернулся. Он отвернулся раньше, чем меня увели, и это я запомнил лучше всего, потому что это было первое, что мне сказали о том, кто я такой. Не слова. Не приговор. А то, что он отвернулся. Люди не отворачиваются от людей. Люди отворачиваются от того, что не хотят видеть, от того, что вызывает у них стыд, от того, что напоминает им об их собственном грехе. Я был напоминанием. Я был живым напоминанием о том, что царица Крита совокупилась с быком, и что из этого родилось нечто, что нельзя ни убить, ни спрятать, ни признать. Я был позором, который дышит. Я был грехом, который ест. Я был тем, о чём не говорят вслух, но о чём шепчутся на рынках и в портах, и Минос не мог меня убить, потому что боги не любят, когда убивают их подарки, даже такие, и не мог меня отпустить, потому что я был живым доказательством, и поэтому он сделал единственное, что оставалось, — он запер меня там, где меня никто не увидит, и назвал это милостью. Он назвал это милостью. Я слышал, как он это сказал. Он сказал: «Я дарю ему жизнь». И это была правда. Он даруй мне жизнь. Таковую, что лучше бы он меня убил. Но он не убил, потому что тогда он был бы просто убийцей, а так он

был милосердным, и это, наверное, самая страшная жестокость, на которую способен человек, — сделать зло и назвать его добром, и потом всю жизнь верить в собственное название.



Лабиринт построил Дедал. Я видел его. Я видел его, когда он ещё ходил по коридорам с чертежами, с верёвками, с инструментами, которые блестели в свете факелов и казались мне

тогда чем-то волшебным, потому что я был маленький и не понимал, что волшебство — это не когда что-то появляется, а когда что-то исчезает, и что самое большое волшебство — это сделать так, чтобы человек исчез, но при этом остался жив. Дедал был худой. У него были длинные пальцы. Он говорил быстро и непонятно, и он смотрел на меня с любопытством, как смотрят на редкое животное, и я тогда не понял, что это любопытство страшнее ненависти, потому что ненависть хочет тебя уничтожить, а любопытство хочет тебя использовать, и оно не кончается, оно никогда не кончается, потому что всегда можно придумать что-то ещё, что можно с тобой сделать. Я слышал, как он говорил с Миносом. Он говорил про ходы, которые меняются, про стены, которые можно сдвигать, про свет, который можно гасить, про то, как сделать так, чтобы человек, попавший внутрь, никогда не нашёл выход, даже если будет идти прямо, даже если будет идти по солнцу, даже если будет идти по звёздам, потому что здесь нет солнца и нет звёзд, здесь есть только камень и тьма, и тьма тоже построена, и она тоже работает на Миноса.

Я долго не понимал, зачем они кидают сюда людей. Я думал сначала, что это еда. Я был маленький, я был голоден, я был зверь, и я думал, что это еда, и я ел, и я не задумывался, потому что голод не думает, потому что голод — это то, что сильнее мысли, что сильнее совести, что сильнее всего, что человек успел в себе построить. Но потом я понял, что это не еда. Еды здесь достаточно. Здесь есть крысы, здесь есть птицы, которые залетают и не могут вылететь, здесь есть вода, которая капает, и если очень постараться, можно прокормиться, не убивая людей. Я понял, что людей кидают сюда не для того, чтобы я ел. Людей кидают сюда для того, чтобы я убивал. Это разные вещи. Есть можно и без смерти, а убивать можно только со смертью, и Минос хотел смерти. Он хотел, чтобы я был убийцей, потому что убийца — это то, что нельзя простить, а то, что нельзя простить, можно держать в лабиринте и чувствовать себя чистым. Каждый раз, когда я убивал, Минос становился чище. Каждый раз, когда я разрывал человека на части, Минос мог сказать себе: «Вот видишь, я был прав, он чудовище, я не зря его запер». Я был его оправданием. Я был его алиби. Я был тем, на кого он показывал пальцем, когда ему становилось стыдно за собственную жену, за собственный дом, за собственную жизнь, которая была построена на лжи и на крови.



Я слышу шаги. Двое. Один идёт тяжело, второй легче, но спотыкается. Значит, один ведёт, второй упирается. Я знаю этот ритм. Так ведут на убой. Я знаю его так хорошо, что могу различить, кто идёт добровольно, кто под конвоем, кто пьян, кто болен, кто надеется, кто уже попрощался с жизнью. Этот идёт и упирается, но не сильно, он уже почти смирился, он уже почти согласен, он уже почти там, где от него хотят, чтобы он был, и это самое страшное —

видеть, как человек соглашается с тем, что его ведут на смерть, как он перестаёт бороться за несколько шагов до входа, потому что понимает, что борьба бессмысленна, и в этом понимании больше отчаяния, чем в любом крике. Пахнет страхом и вином. Кто-то перед смертью решил набраться, идиот, страх всё равно перебьёт, страх сильнее вина, страх сильнее всего, что человек успел выпить, страх — это единственное, что не разбавляется, что не туманится, что не уходит, страх — это то, что остаётся, когда всё остальное уходит, и он остаётся до конца, до последней секунды, до последнего вздоха, и в этом последнем вздохе нет ничего, кроме страха, и я это знаю, потому что я слышал тысячи последних вздохов, и в каждом из них был страх, и ни в одном не было покоя. Они останавливаются у входа, и я вижу факел. Свет здесь не любят. Свет — это надежда, а надежда в Лабиринте хуже голода, потому что голод ты чувствуешь и знаешь, а надежду ты чувствуешь и не знаешь, что она тебя уже убила. Надежда — это то, что заставляет людей идти вглубь, вместо того чтобы стоять на месте и умереть быстро. Надежда — это то, что заставляет их верить в выход, которого нет, в поворот, за которым ничего нет, в дверь, которой не существует. Надежда — это самый жестокий из всех даров, потому что она продлевает страдание, потому что она не даёт сдаться, потому что она шепчет: «Ещё немного, ещё один шаг, ещё один поворот, и ты спасёшься». И они идут. И они умирают.



Стражник говорит: «Вперёд». Голос у него как у человека, который хочет поскорее уйти и уже мысленно ушёл. Я знаю этот голос. Я слышал его тысячи раз. Это голос человека, который делает зло, но не хочет быть злом, который отдаёт приказ, но не хочет быть тем, кто отдаёт приказ, который ведёт на смерть, но не хочет быть тем, кто ведёт на смерть. Он говорит «вперёд» и уже стоит на пороге, уже готов бежать, уже представляет, как вернётся к свету, к вину,

к жене, к детям, к жизни, которая продолжается, пока я здесь, в темноте, продолжаю то, что он начал. Второй молчит, потом делает шаг, камень под его ногой скрипит, и я слышу, как у него колотится сердце. Часто. Как птица об клетку, как птица, которая ещё не знает, что клетка — это не прутья, а весь мир. Я слышу его сердце так ясно, что могу посчитать удары, и я считаю. Раз. Два. Три. Четыре. Оно бьётся всё быстрее, и я знаю, что он сейчас чувствует, я знаю это лучше, чем он сам, потому что я чувствовал это тысячи раз, когда меня вели, когда меня тащили, когда меня запирали, когда меня оставляли одного, и сердце билось так же, и я думал, что оно разорвётся, и оно не разрывалось, оно продолжало биться, и я продолжал жить, и это было хуже всего — то, что жизнь не кончается, когда её хочется, что она тянется, что она не спрашивает, что она просто идёт, и ты идёшь с ней, потому что не можешь идти против, потому что против неё нет силы, нет воли, нет ничего. Стражник уходит, быстро, я не виню, я бы тоже ушёл. Я слышу его шаги, как он бежит, как он спотыкается, как он ругается, как он радуется, что ещё жив, и я не ненавижу его. Я его понимаю. Я понимаю всех, кто боится. Я понимаю страх лучше, чем что-либо другое. Я сам — это страх, который научился ходить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.